



К. А. Марджанишвили.

Накануне 10-летия театра имени К. Марджанишвили

# Из воспоминаний К. А. Марджанишвили 1904—1905 гг.

«Итак, 1903-4 год — последний в моей актерской жизни. Успехи режиссерские, тщеславие молодого человека, в 30 лет являющегося полным хозяином большого театра, окончательно решили мою судьбу — отныне я только режиссер! Я отпустил себе бороду для большей солидности и в таком виде появился постом 1904 года в Москве на театральном рынке.

... Не надо забывать, что это был период борьбы в русском театре за самостоятельного режиссера. До того в театре, даже в таких, как «Московский Малый» или «Петербургская Александринка», отдельной режиссуры не было. Делалось так: один из больших актеров брал себе пьесу, большей частью свою, бенефисную или такую, где у него центральная роль, распределял ее между участниками, строго держась крепко царившего в то время амплуа, и ставил ее на сцене. Все режиссирование сводилось к простому мизансценированию пьесы и сглаживанию тех трений, которые могли возникнуть между премьерами в их диалогах. Редкий театр сознавал еще, что нужен общий подход к пьесе, единое толкование ее. Художественный театр, недавно только возникший, был почти единственным и... боже мой! Как шинела вся старая актерская масса по поводу «обезьяничанья», «дрессировки», «натаскивания», происходившего, мол, в этом театре. Но меня чаровала цельность их спектаклей, их правда, их реализм. Я еще мало видел тогда их спектаклей, так как с деньгами у меня было крайне скудно. Мое жалование не превосходило двухсот пятидесяти рублей и то в Иркутске, где жизнь была крайне дорога.

Нужно было жить самому, посылать семье в Москву... В Москву приходилось приезжать с жалкими остатками от сезона, жить до нового контракта, т. е. аван-

са от нового антрепренера. При этих условиях уделять много на театральные билеты я не мог, а ходить по контрамаркам, выклинивая их в конторах театров, мне всегда было совестно. Отсюда понятно, что при всей моей любви к Художественному театру, посещать его спектакли я мог крайне ограниченно.

Итак, я режиссер! Не актер, одновременно ставящий и пьесы, а самостоятельный режиссер! Но где взять такой театр, который позволил бы себе такую роскошь, как отдельная режиссура, тем более, что актерская масса встречала ее крайне недоброжелательно, актеры глядели на режиссера, как на насильника над их артистической свободой, как на деспота, лишаящего их самостоятельного художественного творчества, и т. д.

В это время в провинции стал обращаться на себя внимание молодой антрепренер, не преследующий в театре коммерческих целей, а всей душой преданный театральному делу и уже завоевавший большое положение сначала в Вильне, а затем в Нижнем-Новгороде. Это был Константин Николаевич Алябьев, по сцене Незлобин... Он решил посвятить себя театру, конечно, он сам играл и играл главные роли, сам режиссировал, но одновременно собрал хорошие театральные силы (у него служили Комиссаржевская, Бравич, Миронов, Грузинский и много других хороших актеров) и пытался создать серьезное театральное предприятие. К этому времени он переехал уже в Ригу и перевез с собой целый поезд театральное имущество — 18 вагонов. Его декорации и костюмы во многом могли поспорить с Московским Художественным театром... В актерской борьбе с режиссером он стал на сторону последнего.

Словом, Незлобин искал режиссера, я искал театр, и произошла наша встреча.

Я до сих пор не знаю, каким образом дошли до него слухи обо мне. Видел ли он в Москве мои постановки или отзывы Н. И. Вольского и иркутских актеров обратили его внимание на меня, но в один прекрасный и великопостный день (а для меня, и не только для меня, но и для жены и ребенка наступил «великий пост», ибо деньги у нас кончились, а антрепренера не было видно) явился ко мне мой знакомый, незлобинский актер Гедике, и просил меня от имени Незлобина встретиться с ним завтра на Тверской, в 10 утра, в кофейной Филиппова. Лично я Незлобина не знал, но слухи об его исключительном деле, конечно, доходили и до меня и, боже! — в каком волнении, чаянии и грезах я провел весь остаток дня.

В этот день мы проели последние остатки наших сбережений, предусмотрительно оставив двугривенный для швейцара в кафе на завтрашнее утро.

В 10 я был у Филиппова. Незлобин сидел уже за столиком и вкусно попивал кофе с сдобными булочками и горячими пирожками. Сидевший с ним Гедике, увидев меня, поднялся мне навстречу. Нас познакомили. Гедике скромно ретировался. Незлобин предложил мне кофе, но несмотря на то, что у меня от голода бурлило в желудке, я важно отказался, заявив, что только что очень плотно позавтракал.

Очень крупный, мясистый, бритый, розовощекий, ласковый человек (таков был К. Н. Незлобин) не стал долго тянуть, а, искоса взглянув на меня, как бы оцени-

вая, что за птица, сидит перед ним, надув щеки, спросил меня: «Хотите служить у меня?».

Целую ночь я готовился к ответу на этот вопрос. Я выработывал все те требования, которые я поставлю Незлобину в целях ограждения своей художественной личности, независимости творчества, утверждения в театре своего режиссерского «я» и т. д., а тут сразу, как гимназист, заявил: «Хочу!».

Незлобин довольно улыбнулся, позвал официанта расплачиваться и, только получив уже сдачу, заявил мне: «Хорошо! Вы служите у меня, оклад 250 рублей в месяц. Писанных договоров я не заключаю. Пропайте!». Пожал мне руку и ушел.

Вот и все! Я сидел, разинув рот. А где же аванс? Где все те требования о создании художественной среды и обстановки? Я поднялся и пошел к вешалке. Порывшись в дырявом жилетном кармане в поисках последнего двугривенного, который, как на зло завалился в самый угол подкладки, я с трудом выудил его, отдал швейцару и вышел на Тверскую. Теперь скорей домой поделиться радостью с женой. Правда, есть у нас сегодня ничего, до зимнего сезона еще весна и лето, но зато, какие радостные перспективы впереди, я режиссер большого незлобинского дела, жена на зиму — у Корша! Это ничего, что мороз пробирает в жалком пальтишке, что на улице зима, в груди у меня жаркое лето...

На следующее утро, когда я пришел в бюро театрального общества, уже вся

театральная громада знала о моем приглашении к Незлобину, тысячи глаз провожали меня по залам. В бюро очень резко отделялась обычная средняя театральная масса от избранных. В одном из зал стояли решетки. За решетками управляющий бюро и его служащие, а по ту сторону все актерство, ищущее ангажементов, мелкие антрепренеры, представители товариществ и т. д. К окошечкам в решетках подходили счастливицы для подписания договора. Но актерские киты: известные премьеры, крупные антрепренеры, режиссеры больших дел — эти не смешивались с общей массой; они имели свободный доступ за решетки и там вершили свои дела. Когда я подошел к одному из оконцев просить корреспонденцию, меня увидал Пальмин, управляющий бюро, и первый раз назвав меня по имени и отчеству, попросил войти за решетку. Так открылись для меня заветные двери, отгораживавшие среднюю театральную толпу от счастливиц, взявших выигрышный билет в театральной карьере.

Пальмин меня поздравил, передал 500 рублей от имени Незлобина и заявил, что Константин Николаевич просил мне передать, чтобы я не искал летней службы, а ехал бы в Старую Руссу, чтобы ознакомиться с его делом, выработать репертуар и условия работы и т. д.

В мае я с семьей выехал в Руссу, где Незлобин предоставил нам одну из своих дач в 4 комнаты. Здесь обычно он держал летний сезон и, ставя в неделю 2 или 3 спектакля, отдыхал сам и давал возможность своей труппе восстановить силы. Я в деле не работал, а только, посещая спектакли, ознакомился с актерскими силами Незлобина и готовился к зимнему сезону. Незлобин вставал рано, а эту привычку, еще со времени моей деревенской жизни, я сохранил навсегда. Целые утра мы проводили с ним в обсуждении пьес, в выборе их, составлении репертуара, распределении ролей и т. д.

В это время в Старой Руссе жил Алексей Максимович Горький, который был близок с Незлобиным с времен антрепризы последнего в Нижнем-Новгороде. Жена Горького Марья Федоровна Андреева ушла из Художественного театра и следующий сезон должна была служить в Риге у Незлобина. Изредка она

поигрывала и здесь в Руссе. Помню, я был на одной из репетиций «Красной мантии», которую ставил Незлобин и в которой М. Ф. и сам К. Н. играли главные роли. Меня не удовлетворило толкование их ролей и когда они спросили меня о мнении, я, немного конфузясь, высказал им свои соображения. Разбор пьесы увлек меня, я не заметил, как вокруг сгрудилась вся труппа, подошел и Горький. Я кончил. И вдруг вижу Алексея Максимовича, который обратился ко мне: «А Вы бы взяли и переставили пьесу!».

Горький, Максим Горький, которого боготворила вся молодежь, чувство преклонения перед которым во мне живо до сих пор, Горький поверил мне!.. У меня кружилась голова.

Было решено, что «Красную мантию» в Риге я прокорректирую и внесу в нее нужные поправки. После этого очень часто Алексей Максимович присутствовал на наших совещаниях с Незлобиным о предстоящем сезоне. В Старую Руссу к Горькому было целое паломничество. Каждый писатель, сделавший новую вещь, приезжал к Алексею Максимовичу прочитать ее и, очень естественно что все, что писалось в области театра, прочитывалось в моем присутствии. Таким образом я стал первым постановщиком почти всех театральные новинки русских писателей. Так я сблизился с Леонидом Андреевым, Блоком, Юшкевичем.

Обаяние Горького! Этот по виду хмурый, по речи как-будто грубый человек, после двух фраз, сказанных собеседнику, очаровывал последнего и уж никогда не забывался. Я проверил это чувство на себе в 1921 году, когда в последний раз встретился с Алексеем Максимовичем и был также влюблен в него, как и в первое знакомство.

Мне должно быть не раз еще придется говорить о Горьком, но я хочу, чтобы сейчас же каждый, кому случайно попадут в руки эти записки, знал, что без волнения говорить об этом человеке я не могу.

Я был счастлив, так счастлив, как может быть счастлив человек. Любимое дело и все для того, чтобы это дело спорилось так, как хочется!».